

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

Господину Савари, члену Академии наук



Стерн, «Тристрам Шенди», гл. CCCXXII

I

Талисман

В конце октября прошлого года один молодой человек вошел в Пале-Рояль, как раз к тому времени, когда открываются игорные дома — согласно закону, охраняющему права страсти, подлежащей обложению по самой своей сущности. Не колеблясь, он поднялся по лестнице притона, на котором значился номер «36».

— Не угодно ли вам отдать шляпу? — сурово крикнул ему мертвенно-бледный старикашка, который примостился где-то в тени за барьером, а тут вдруг поднялся и выставил напоказ мерзкую свою физиономию.

Когда вы входите в игорный дом, то закон прежде всего отнимает у вас шляпу. Быть может, это своего рода евангельская притча, предупреждение, ниспосланное небом, или, скорее, особый вид адского договора, требующего от нас некоего залога? Быть может, хотят заставить вас относиться с почтением к тем, кто вас обыграет? Быть может, полиция, проникающая во все общественные клоаки, желает узнать

фамилию вашего шляпника или же вашу собственную, если вы написали ее на подкладке шляпы? А может быть, наконец, намереваются снять мерку с вашего черепа, чтобы потом составить поучительные статистические таблицы умственных способностей игроков? На этот счет администрация хранит полное молчание. Но имейте в виду, что, как только вы делаете первый шаг по направлению к зеленому полю, шляпа вам уже не принадлежит, точно так же, как и сами вы себе не принадлежите: вы во власти игры — и вы сами, и ваше богатство, и ваша шляпа, и трость, и плащ. А при выходе игра возвращает вам то, что вы сдали на хранение, — то есть убийственной, овеществленной эпиграммой докажет вам, что кое-что она вам все-таки оставляет. Впрочем, если у вас новый головной убор, тогда урок, смысл которого в том, что игроку следует завести особый костюм, станет вам в копеечку.

Недоумение, изобразившееся на лице молодого человека при получении номерка в обмен на шляпу, поля которой, по счастью, были слегка потерты, указывало на его неопытность; старикашка, вероятно, с юных лет погрязший в кипучих наслаждениях азарта, окинул его тусклым, безучастным взглядом, в котором философ различил бы убожество больницы, скитания банкротов, вереницу утопленников, бессрочную каторгу, ссылку на Гуасакоалько. Испитое и бескровное его лицо, свидетельствовавшее о том, что питается он теперь исключительно желатинными супами Дарсе, являло собой бледный образ страсти, упрощенной до предела. Глубокие морщины говорили о постоянных мучениях: должно быть, весь свой скудный заработок он проигрывал в день полочки. Подобно тем клячам, на которых уже не действуют удары бича, он не вздрогнул бы ни при каких обстоя-

тельствах, он оставался бесчувственным к глухим стонам проигравшихся, к их немым проклятиям, к их отупелым взглядам. То было воплощение игры. Если бы молодой человек пригляделся к унылому этому церберу, быть может, он подумал бы: «Ничего, кроме колоды карт, нет в его сердце!» Но он не послушался этого олицетворенного совета, поставленного здесь, разумеется, самим провидением, подобно тому, как оно же сообщает нечто отвратительное прихожей любого притона. Он решительными шагами вошел в залу, где звон золота околдовывал и ослеплял душу, объятую алчностью. Вероятно, молодого человека толкала сюда самая логичная из всех красноречивых фраз Жан-Жака Руссо, печальный смысл которой, думается, таков: «Да, я допускаю, что человек может пойти играть, но лишь тогда, когда между собою и смертью он видит лишь свое последнее эку».

По вечерам поэзия игорных домов пошловата, но ей обеспечен успех, так же как и кровавой драме. Залы полнятся зрителями и игроками, неимущими старичками, что приплелись сюда погреться, лицами, взволнованными оргией, которая началась с вина и вот-вот закончится в Сене. Страсть здесь представлена в изобилии, но все же чрезмерное количество актеров мешает вам смотреть демону игры прямо в лицо. По вечерам это настоящий концерт, причем орет вся труппа и каждый инструмент оркестра выводит свою фразу. Вы увидите здесь множество почтенных людей, которые пришли сюда за развлечениями и оплачивают их так же, как одни платят за интересный спектакль или за лакомство, а другие, купив по дешевке где-нибудь в мансарде продажные ласки, расплачиваются за них потом целых три месяца жгучими сожалениями. Но поймете ли вы, до какой степени одержим азартом человек, нетерпели-

во ожидающий открытия притона? Между игроком вечерним и утренним такая же разница, как между беспечным супругом и любовником, томящимся под окном своей красавицы. Только утром вы встретите в игорном доме трепетную страсть и нужду во всей ее страшной наготе. Вот когда вы можете полюбоваться на настоящего игрока, на игрока, который не ел, не спал, не жил, не думал, — так жестоко истерзан он бичом неудач, уносивших постоянно удваиваемые его ставки, так он исстрадался, измученный зудом нетерпения — когда же наконец выпадет «тридцать и сорок»? В этот проклятый час вы заметите глаза, спокойствие которых ужасает, заметите лица, которые вас обвораживают, взгляды, которые как будто приподнимают карты и пожирают их.

Итак, игорные дома прекрасны только при начале игры. В Испании есть бой быков. В Риме были гладиаторы, а Париж гордится своим Пале-Роялем, где раззадоривающая рулетка дает вам насладиться захватывающей картиной, в которой кровь течет потоками и не грозит, однако, замочить ноги зрителей, сидящих в партере. Постарайтесь бросить беглый взгляд на эту арену, войдите!.. Что за убожество! На стенах, оклеенных обоями, засаленными в рост человека, нет ничего, что могло бы освежить душу. Нет даже гвоздя, который облегчил бы самоубийство. Паркет обшаркан, запачкан. Середину зала занимает овальный стол. Он покрыт сукном, истертым золотыми монетами, а вокруг тесно стоят стулья — самые простые стулья с плетеными соломенными сиденьями, и это ясно изобличает любопытное безразличие к роскоши у людей, которые приходят сюда, на свою погибель, ради богатства и роскоши. Подобные противоречия обнаруживаются в человеке всякий раз, когда душа с силой отталкивается сама от себя. Влюб-

ленный хочет нарядить свою возлюбленную в шелка, облечь ее в мягкие ткани Востока, а чаще всего облекает ее на убогой постели. Честолюбец, мечтающий о высшей власти, пресмыкается в грязи раболепства. Торговец дышит сырым, нездоровым воздухом в своей лавчонке, чтобы воздвигнуть обширный особняк, откуда его сын, наследник скороспелого богатства, будет изгнан, проиграв тяжбу против родного брата. Да, наконец, существует ли что-нибудь менее приятное, чем дом наслаждений? Страшное дело! Вечно борясь с самим собой, теряя надежды перед лицом нагрянувших бед и спасаясь от бед надеждами на будущее, человек во всех своих поступках проявляет свойственные ему непоследовательность и слабость. Здесь, на земле, ничто не осуществляется полностью, кроме несчастья.

Когда молодой человек вошел в залу, там было уже несколько игроков. Три плешивых старика развалясь сидели вокруг зеленого поля; их лица, похожие на гипсовые маски, бесстрастные, как у дипломатов, изобличали души пресыщенные, сердца, давно уже разучившиеся трепетать даже в том случае, если ставится на карту неприкосновенное имение жены. Молодой черноволосый итальянец, с оливковым цветом лица, спокойно облокотился на край стола и, казалось, прислушивался к тем тайным предчувствиям, которые кричат игроку роковые слова: «Да! — Нет!» От этого южного лица веяло золотом и огнем. Семь или восемь зрителей стояли, выстроившись в ряд, как на галерке, и ожидали представления, которое им сулила прихоть судьбы, лица актеров, передвижение денег и лопаточек. Эти праздные люди были молчаливы, неподвижны, внимательны, как толпа, собравшаяся на Гревской площади, когда палач отрубает кому-нибудь голову. Высокий худой господин в по-

тертом фраке держал в одной руке записную книжку, а в другой — булавку, намереваясь отмечать, сколько раз выпадет красное и черное. То был один из современных Танталов, живущих в стороне от наслаждений своего века, один из скупцов, играющих на воображаемую ставку, нечто вроде рассудительного сумасшедшего, который в дни бедствий тешит себя несбыточной мечтой, который обращается с пороком и опасностью так же, как молодые священники — с причастием, когда служат раннюю обедню. Напротив игрока поместились пройдохи, изучившие все шансы игры, похожие на бывалых каторжников, которых не испугаешь галерами, явившиеся сюда, чтобы рискнуть тремя ставками и в случае выигрыша, составлявшего единственную статью их дохода, сейчас же уйти. Два старых лакея равнодушно ходили взад и вперед, скрестив руки, и по временам поглядывали из окон в сад, точно для того, чтобы вместо вывески показать прохожим плоские свои лица. Кассир и банкомет только что бросили на понтеров тусклый, убийственный взгляд и сдавленным голосом произнесли: «Ставьте!», когда молодой человек отворил дверь. Молчание стало словно еще глубже, головы с любопытством повернулись к новому посетителю. Неслыханное дело! При появлении незнакомца отупевшие старики, окаменелые лакеи, зрители, даже фанатик-итальянец — решительно все испытали какое-то ужасное чувство. Надо быть очень несчастным, чтобы возбудить жалость, очень слабым, чтобы вызвать симпатию, очень мрачным с виду, чтобы дрогнули сердца в этой зале, где скорбь всегда молчалива, где горе весело и отчаяние благопристойно. Так вот именно все эти свойства и породили то новое ощущение, которое расшевелило оледеневшие души, когда вошел молодой человек. Но разве палачи не ро-

няли порою слез на белокурые девичьи головы, которые они должны были отсечь по сигналу, данному Революцией?

С первого же взгляда игроки прочли на лице новичка какую-то страшную тайну; в его тонких чертах сквозила грустная мысль, выражение юного лица свидетельствовало о тщетных усилиях, о тысяче обманутых надежд! Мрачная бесстрастность самоубийцы легла на его чело матовой и болезненной бледностью, в углах рта легкими складками обрисовалась горькая улыбка, и все лицо выражало такую покорность, что на него было больно смотреть. Некая скрытая гениальность сверкала в глубине этих глаз, затуманенных, быть может, усталостью от наслаждений. Не разгул ли отметил нечистым своим клеймом это благородное лицо, прежде чистое и сияющее, а теперь уже помятое? Доктора, вероятно, приписали бы этот лихорадочный румянец и темные круги под глазами пороку сердца или грудной болезни, тогда как поэты пожелали бы увидеть в этих знаках приметы самозабвенного служения науке, следы бессонных ночей, проведенных при свете рабочей лампы. Но страсть более смертоносная, чем болезнь, и болезнь более безжалостная, чем умственный труд и гениальность, искажали черты этого молодого лица, сокращали эти подвижные мускулы, утомляли сердце, которого едва лишь коснулись оргии, труд и болезнь. Когда на ка-торге появляется знаменитый преступник, заключенные встречают его почтительно, — так и в этом при-тоне демоны в образе человеческого, испытанные в страданиях, приветствовали неслыханную скорбь, глубокую рану, которую измерял их взор, и по величю молчаливой иронии незнакомца, по нищенской изысканности его одежды признали в нем одного из своих владык. На молодом человеке был отличный

фрак, но галстук слишком вплотную прилегал к жилету, так что едва ли под ним имелось белье. Его руки, изящные, как у женщины, были сомнительной чистоты, — ведь он уже два дня ходил без перчаток. Если банкомет и даже лакеи вздрогнули, так это оттого, что очарование невинности еще цвело в хрупком и стройном его теле, в волосах, белокурых и редких, вьющихся от природы. Судя по чертам лица, ему было лет двадцать пять, а порочность его казалась случайной. Свежесть юности еще сопротивлялась опустошениям неутоленного сладострастия. Во всем его существе боролись мрак и свет, небытие и жизнь, и, может быть, именно поэтому он производил впечатление чего-то обаятельного и вместе с тем ужасного. Молодой человек появился здесь, словно ангел, лишенный сияния, сбившийся с пути. И все эти заслуженные наставники в порочных и позорных страстях почувствовали к нему сострадание — подобно беззубой старухе, проникшейся жалостью к красавице девушке, которая вступила на путь разврата, — и готовы были крикнуть новичку: «Уйдите отсюда!» А он прошел прямо к столу, остановился, не задумываясь бросил на сукно золотую монету, и она покати­лась на *черное*; потом, как все сильные люди, презирающие скряжническую нерешительность, он взглянул на банкомета вызывающе и вместе с тем спокойно. Ход этот возбудил такой интерес, что старики ставки не сделали; однако итальянец с фанатизмом страсти ухватился за увлекавшую его мысль и поставил все свое золото против ставки незнакомца. Кассир забыл произнести обычные фразы, которые с течением времени превратились у него в хриплый и невнятный крик: «Ставьте!» — «Ставка принята!» — «Больше не принимаю!» Банкомет снял карты, и, казалось, даже он, автомат, безучастный к проиг-

рышу и выигрышу, устроитель этих мрачных увеселений, желал новичку успеха. Зрители все как один готовы были видеть развязку драмы в судьбе этой золотой монеты, последнюю сцену благородной жизни; их глаза, прикованные к роковым листкам картона, горели, но, несмотря на все внимание, с которым они следили то за молодым человеком, то за картами, они не могли заметить и признака волнения на его холодном и покорном лице.

— Красная, черная, пас, — официальным тоном объявил банкомет.

Что-то вроде глухого хрипа вырвалось из груди итальянца, когда он увидел, как один за другим падают на сукно сложенные банковые билеты, которые ему бросал кассир. А молодой человек только тогда постиг свою гибель, когда лопаточка протянулась за его последним наполеондором. Слоновая кость тихо стукнулась о монету, и золотой с быстротою стрелы докатился до кучки золота, лежавшего перед кассой. Незнакомец медленно опустил веки, губы его побелели, но он тут же открыл глаза снова; точно кораллы, заалели его губы, он стал похож на англичанина, для которого в жизни не существует тайн, и исчез, не пожелав вымалывать себе сочувствие тем душераздирающим взглядом, который часто бросают на зрителей игроки, впавшие в отчаяние. Сколько событий произошло на протяжении одной секунды, и как много значит один удар игральных костей!

— Это был, конечно, последний его заряд, — сказал, улыбнувшись, крупье после минутного молчания и, держа золотую монету двумя пальцами, показал ее присутствующим.

— Шальная голова! Он, чего доброго, бросится в реку, — отозвался один из завсегдатаев, оглядев игроков, которые все были знакомы между собой.

— Да уж! — воскликнул лакей, беря щепотку табаку.

— Вот нам бы последовать примеру этого господина! — сказал старик своим товарищам, показывая на итальянца.

Все оглянулись на счастливого игрока, который дрожащими руками пересчитывал банковые билеты.

— Какой-то голос, — сказал он, — шептал мне на ухо: «Расчетливая игра одержит верх над отчаянием молодого человека».

— Разве это игрок? — вставил кассир. — Игрок разделит бы свои деньги на три ставки, чтобы увеличить шансы.

Проигравшийся незнакомец, уходя, позабыл о шляпе, но старый сторожевой пес, заметивший жалкое ее состояние, молча подал ему это отрепье; молодой человек машинально возвратил номерок и спустился по лестнице, насвистывая «*Di tanti palpiti*»* так тихо, что сам едва мог слышать эту чудесную мелодию.

Вскоре он очутился под аркадами Пале-Рояля, прошел до улицы Сент-Оноре и, свернув в сад Тюильри, нерешительным шагом пересек его. Он шел точно в пустыне; его толкали встречные, но он их не видел; сквозь уличный шум он слышал один только голос — голос смерти; он оцепенел, погрузившись в раздумье, похожее на то, в какое впадают преступники, когда их везут от Дворца правосудия на Гревскую площадь, к эшафоту, красному от крови, что лилась на него с 1793 года.

Есть что-то великое и ужасное в самоубийстве. Для большинства людей падение не страшно, как для детей, которые падают с такой малой высоты, что не ушибаются, но когда разбился великий человек, то

* «Что за трепет» (*ит.*).

это значит, что он упал с большой высоты, что он поднялся до небес и узрел некий недоступный рай. Беспощадные должны быть те ураганы, что заставляют просить душевного покоя у пистолетного дула. Сколько молодых талантов, загнанных в мансарду, затерянных среди миллиона живых существ, чахнет и гибнет перед лицом скучающей, уставшей от золота толпы, потому что нет у них друга, нет близ них женщины-утешительницы! Стоит только над этим призадуматься — и самоубийство предстанет перед нами во всем своем гигантском значении. Один Бог знает, сколько замыслов, сколько недописанных поэтических произведений, сколько отчаяния и сдавленных криков, бесплодных попыток и недоношенных шедевров теснится между самовольною смертью и животворной надеждой, когда-то призвавшей молодого человека в Париж. Всякое самоубийство — это возвышенная поэма меланхолии. Всплывет ли в океане литературы книга, которая по своей волнующей силе могла бы соперничать с такою газетной заметкой: «Вчера, в четыре часа дня, молодая женщина бросилась в Сену с моста Искусств»?

Перед этим парижским лаконизмом все бледнеет — драмы, романы, даже старинное заглавие: «Плач славного короля Карнаванского, заточенного в темницу своими детьми», — единственный фрагмент затерянной книги, над которым плакал Стерн, сам бросивший жену и детей...

Незнакомца осаждали тысячи подобных мыслей, обрывками проносясь в его голове, подобно тому, как разорванные знамена развеваются во время битвы. На краткий миг он сбрасывал с себя бремя дум и воспоминаний, останавливаясь перед цветами, головки которых слабо колыхал среди зелени ветер; затем, ощутив в себе трепет жизни, все еще борющейся

с тягостною мыслью о самоубийстве, он поднимал глаза к небу, но нависшие серые тучи, тоскливые завывания ветра и промозглая осенняя сырость внушали ему желание умереть. Он подошел к Королевскому мосту, думая о последних прихотях своих предшественников. Он улыбнулся, вспомнив, что лорд Каслри, прежде чем перерезать себе горло, удовлетворил низменнейшую из наших потребностей и что академик Оже, идя на смерть, стал искать табакерку, чтобы взять понюшку. Он пытался разобраться в этих странностях, вопрошал сам себя, как вдруг, прижавшись к парапету моста, чтобы дать дорогу рыночному носильщику, который все же запачкал рукав его фрака чем-то белым, он сам себя поймал на том, что тщательно стряхивает пыль. Дойдя до середины моста, он мрачно посмотрел на воду.

— Не такая погода, чтобы топиться, — с усмешкой сказала ему одетая в лохмотья старуха. — Сена грязная, холодная!..

Он ответил ей простодушной улыбкой, выразившей всю безумную его решимость, но внезапно вздрогнул, увидав вдали, на Тюильрийской пристани, барак с вывеской, на которой огромными буквами было написано: «спасение утопающих». Перед мысленным его взором вдруг предстал г-н Даше во всеоружии своей филантропии, приводя в движение добродетельные весла, коими разбивают головы утопленникам, если они на свою беду покажутся из воды; он видел, как г-н Даше собирал вокруг себя зевак; выискивал доктора, готовил окуривание; он читал соболезнования, составленные журналистами в промежутках между веселой пирушкой и встречей с улыбочивой танцовщицей; он слышал, как звенят экю, отсчитываемые префектом полиции лодочникам в награду за его труп. Мертвый, он стоит пятьдесят фран-